



Тени Гнилых Топей.
Клятва чёрного хана

Дамир Янсуфин

**Тени Гнилых Топей.
Клятва чёрного хана**

«Автор»

2026

Янсуфин Д.

Тени Гнилых Топей. Клятва чёрного хана / Д. Янсуфин —
«Автор», 2026

Великая Тартария, 1556 год. Молодой царь Уриэль Септим VIII только что одержал блестящую победу — покорил Монголию и возродил легендарный Каракорум. Столица ликует, империя на подъёме. Но на забытых богами Гнилых Топях, вдали от белокаменного Тобольска, живёт дикое племя сыбыр — язычников, что поклоняются деревянному идолу и не признают ничьей власти, кроме собственных законов выживания. Когда с юга, из знойной Бухары, прибывают два брата — грозный хан Кучум и кроткий проповедник Ахмет Гирей — с миссией обратить дикарей в истинную веру, царь даёт им своё благословение. Но болота не прощают чужаков. А страх и гордыня способны превратить даже самое святое дело в кровавую трагедию. Что сильнее — слово или меч, вера или страх, цивилизация или дикость? И какую цену придётся заплатить за справедливость, когда брат мёртв, а возмездие уже скачет по болотным тропам? История о столкновении миров, о братской любви и неутолимой жажде мести, о величии империй и о тех, кто остаётся за их пределами.

© Янсуфин Д., 2026

© Автор, 2026

Дамир Янсуфин

Тени Гнилых Топей. Клятва чёрного хана

Книга I. Тартарский лев

Глава 1. Золотая весна

Тысяча пятьсот пятьдесят шестой год от Рождества Христова в Великой Тартарии встречали ликованием. Весна в тот год выдалась ранняя, щедрая, словно сама земля решила устелить дорогу победителю. Иртыш, ещё недавно скованный сизым льдом, взломался в одну ночь и теперь катил свои воды мимо белокаменных стен Тобольска, унося последние осколки зимы в суровые северные моря.

Столица гудела. Этот гул не был тревожным — так гудит улей, полный мёда и солнца. Торговцы на базарной площади, позабыв о товарах, били в бубны. Ремесленники, высыпавшие из мастерских, подбрасывали в воздух войлочные шапки, расшитые золотой нитью. Женщины в праздничных кафтанах, чьи рукава сияли всеми цветами восточных шелков, пели старые тартарские песни — те самые, что пели ещё праматери, провожая воинов Чингиса в Великий поход. От храмов, где в едином ладу соседствовали православные колокольни и минареты с полумесяцами, плыл густой, торжественный звон. Священники и муллы, забыв о вековых спорах, вышли на паперти и вместе благословляли этот день.

А причиной всему был он.

Великий молодой Царь всея Тартарии, Государь Тобольский, Хранитель Восточных Пределов и Повелитель Степи — Уриэль Септим Восьмой — возвращался домой.

Он въехал в город не через парадные Золотые ворота, как того требовал протокол, а через Восточные, у которых когда-то мальчишкой играл в войну с сыновьями бояр. Сейчас ему было двадцать четыре, и война перестала быть игрой. Его караван растянулся на добрую версту: сначала конная гвардия в сверкающих на солнце доспехах, чьи шлемы венчали конские хвосты, выкрашенные в алый цвет; затем пленные монгольские нойоны, шедшие пешком, но с гордо поднятыми головами — им оставили оружие, потому что Уриэль умел миловать врагов, обращая их в друзей; и, наконец, он сам.

Царь ехал верхом на вороном жеребце бухарских кровей по имени Нур-Гром. Конь прыгал ушами и косил фиолетовым глазом на ревущую толпу, но шёл ровно, чувствуя спокойную руку седока. Уриэль был облачён в походный кафтан из тёмно-синего бархата, расшитого серебряными драконами — гербом дома Септимов. На плечах, поверх кафтана, лежала лёгкая кольчуга, помятая в бою под Каракорумом, но натёртая до блеска. Светлые, почти пепельные волосы царя, не стянутые в узел, падали на плечи, а на высоком лбу, чуть выше правой брови, алел свежий шрам — память о стреле, пущенной с крепостной стены.

Но ярче шрама сияли его глаза — цвета балтийского янтаря. Они были полны огня, юной гордости и того особого света, который бывает только у людей, вернувшихся живыми с великой войны.

— Слава Великому Тартарскому народу! — крикнул он, привстав на стремянах.

Толпа взревела. Этот крик, подхваченный тысячами глоток, пронёсся над рекой, ударился о стены Кремля и рассыпался эхом по бескрайним просторам, что лежали за городом, — по лесам, степям и горам, над которыми никогда не заходило тартарское солнце.

Уриэль вдохнул полной грудью. Пахло мокрой землёй, конским потом и дымом костров, на которых жарили мясо для пира. Этот запах был для него лучшим благовонием.

Он обернулся к своему другу и воеводе, что ехал по правую руку, — суровому мужу лет сорока с выдубленным ветрами лицом и сединой в чёрной бороде. Боярин Вячеслав Мороз, правая рука царя в монгольском походе, ответил на его взгляд лёгкой усмешкой.

— Чего скалишься, Вячеслав Алексеич? — спросил Уриэль, чуть натянув поводья, чтобы дать толпе лучше себя разглядеть. — Или не рад, что домой вернулись?

— Рад, Государь, — голос Мороза был похож на скрежет точильного камня. — Только смотрю я на тебя и думаю: не загордись.

Уриэль рассмеялся — звонко, молодо.

— Сегодня можно! Сегодня я хочу, чтобы гордились все. Тайбер Септим, наш великий основатель, гордился бы мной! — он указал рукой в сторону цитадели, где над главной башней реял огромный стяг с серебряным драконом. — Мой отец, Леонардо Септим...

Голос его дрогнул. Всего на мгновение. Толпа этого не заметила, но Мороз заметил. Он нахмурился, но ничего не сказал.

Уриэль справился с собой и продолжил, вновь обращаясь к народу:

— Мой отец, Леонардо Септим, да примет его душа Вечный Свет, гордился бы мной! Он всегда говорил: «Монголия — это спина Тартарии. Если не укрепить спину, враг ударит в неё ножом». Мы укрепили! Мы возродили Каракорум! Отныне это не логово забытых ханов, а восточный форпост нашей державы!

Толпа вновь взорвалась криками. Кто-то запел гимн. Уриэль поднял руку, призывая к тишине, и добавил, сверкнув глазами:

— Так славьте же не меня — славьте себя, народ мой! Вы тот фундамент, на котором стоят Септимы. Ваша кровь, ваш пот, ваша вера — вот что построило Тартарию! Слава тартарским кузнецам, ковавшим наши мечи! Слава пахарям, чей хлеб кормил мою армию! Слава матерям, родившим храбрецов, что шли со мной на приступ! Слава великому народу!

Теперь уже ревели все. Даже Мороз, умудрённый жизнью циник, на мгновение ощутил ком в горле. Этот мальчишка, едва разменявший третий десяток, умел зажигать сердца. Не лестью, нет. Правдой.

Церемониальный проезд по городу длился около часа. Когда копыта коней зацокали по деревянному настилу подъёмного моста, ведущего во внутренний двор Кремля, Уриэль, наконец, позволил плечам немного опуститься. Здесь, за высокими стенами, не было толпы. Только свора псарей с гончими, дворцовая стража в парадных тулупах да... она.

На крыльце главного терема, укрытая от весеннего солнца резным навесом, стояла его жена.

Клавдия.

Она была не в пышном церемониальном платье, а в простом летнике цвета морской волны, с жемчужной сеткой в тёмных, как южная ночь, волосах. На руках она держала маленькую дочь, Катарию. Девочка, которой шёл всего третий год, увидев отца, забилась в руках матери и закричала тонким, но требовательным голосом:

— Папа! Папа едет!

Уриэль спешил, не дожидаясь стремянного, и в два прыжка взлетел на крыльцо. Тяжёлые сапоги гулко ударили по деревянным ступеням. Он остановился в шаге от жены, внезапно оробев, словно не великий воин, а мальчишка, пришедший на первое свидание.

Клавдия смотрела на него своими бездонными зелёными глазами. Она не плакала — не в её это было характере. Дочь боярина-воеводы, она с детства привыкла к тревоге ожидания. Но сейчас в её глазах стояла такая тихая, глубокая любовь и облегчение, что Уриэль почувствовал: вот она, главная победа. Не Каракорум. Не покорённые нойоны. А этот взгляд.

— Ты долго, — сказала она тихо, чуть охрипшим голосом. — В прошлом письме обещал к концу зимы.

— Монголы не умеют считать время, — улыбнулся Уриэль, делая последний шаг. — А я не умею воевать быстро. Но я вернулся.

Он нежно, почти благоговейно коснулся губами её лба, вдохнул запах её волос — травы и лаванда. Затем осторожно принял из её рук Катарию. Девочка тут же вцепилась пухлыми ручонками в его кольчугу и попыталась укусь серебряного дракона на плече.

— Ты смотри, какая воительница растёт, — засмеялся Уриэль. — Зубы точит о герб отцовский.

— Вся в тебя, — вздохнула Клавдия, поправляя сбившийся платок на голове дочери. — Такая же упрямая. И такая же красивая.

— Значит, Септимы не переведутся на этой земле, — Уриэль прижал дочь к груди, и та, устав от борьбы с драконом, уткнулась носом в его шею. — Ты как тут? Справлялась? Бояре не мутили воду?

— Бояре тише воды, ниже травы, — Клавдия взяла его под руку, и они медленно пошли вглубь терема, мимо склонившихся в поклоне слуг. — Твой наместник, старый Годунов, глаз с них не спускает. Говорит, пусть только пискнет кто — лично бороды повыдёргивает.

— Это он может, — усмехнулся Уриэль.

Они вошли в тронную залу. Здесь было полутемно и прохладно. Сквозь витражные окна, привезённые аж из самой Флоренции, лился разноцветный свет, рисуя на мраморном полу причудливые узоры. Уриэль остановился у подножия трона — массивного кресла из сибирского кедра, украшенного бивнями мамонта.

Он опустил дочь на пол, и та тут же побежала к мамке, стоявшей в дверях. Клавдия осталась рядом с мужем.

— О чём думаешь? — спросила она, видя, что его лицо вдруг стало серьёзным.

— О них, — Уриэль кивнул на портреты, что висели над троном.

Их было семь. Шестеро мужчин и одна женщина — Императрица Тайра, «Железная дева Тартарии». Основатель династии Тайбер Септим смотрел с портрета строго и пронзительно, сжимая в руке свиток с первыми законами державы. А рядом, чуть правее, висел портрет отца. Леонардо Септим Седьмой. Художник изобразил его сидящим в этом самом кресле, с ласковой улыбкой и усталыми, всепонимающими глазами. Глазами человека, который правил тридцать лет и которого сломила не война, а проклятая болезнь, сжигавшая его изнутри.

— Я скучаю по нему, — сказал Уриэль тихо. — Знаешь, Клава, мне было страшно.

— Когда? На войне?

— Нет. Сегодня. Когда въезжал в город. Я вдруг подумал: «Что бы он сказал? Доволен ли он мной?» Я стою здесь, победитель, а чувствую себя сиротой. Разве так бывает?

Клавдия взяла его ладони в свои и крепко сжала.

— Так бывает со всеми, кто любил своих отцов, — сказала она. — И я скажу тебе, что сказал бы он. Он сказал бы: «Уриэль, ты поступил как мужчина. Ты не позволил врагу осквернить наши степи. А теперь...»

— ...а теперь иди и правь, — закончил за неё Уриэль с грустной усмешкой. — Да, это его слова. Он говорил: «Война — это ремесло солдата. Мир — это искусство царя».

Он последний раз взглянул на портрет отца, и ему показалось, что Леонардо чуть заметно кивнул ему. Уриэль тряхнул головой, отгоняя наваждение, и улыбнулся жене.

— Ладно. У нас сегодня праздник. Пойдём, покажемся народу на балконе. А потом я издам указ: семь дней гулять, есть, пить и веселиться всей Тартарии. От Тобольска до самых восточных морей!

— Семь дней? — Клавдия лукаво прищурилась. — А не лопнет казна?

— Казна лопнет, если народ разлюбит царя, — ответил Уриэль. — А любовь, как говорил наш предок Тайбер, покупается не золотом, а справедливостью и щедростью. Пойдём!

Он взял её за руку, и они вышли на широкий балкон, увитый первыми весенними цветами.

Внизу, на площади, уже собралась огромная толпа. Увидев Царя и Царицу, народ взревел так, что задрожали стёкла.

Уриэль поднял руку, приветствуя подданных. Солнце заливало его фигуру золотом. Он стоял — молодой, гордый, счастливый. Империя лежала у его ног. Впереди была целая жизнь.

И никто на этой площади не знал, что далеко-далеко, на южных границах Тартарии, из знойных песков Бухары уже вышли первые отряды человека по имени Кучум. И что ветер, шелестящий знамёнами, доносит не только запах весны, но и смутный отзвук грядущей беды.

Но это всё будет потом. А сегодня — в великой Тартарии был праздник.

Глава 2. Дети Тумана

Далеко-далеко от белокаменного величия Тобольска, от его базаров, храмов и мощёных улиц, там, где кончались последние тракты Великой Тартарии, лежала земля, которую даже имперские картографы обозначали неохотно. «Топи Гнилые» — значилось на пергаментных размашистой вязью, и ниже, мелким почерком, приписка: «Населены дикими сыбырами. К торговле не пригодны. К службе государевой не годны. К сбору податей — терпимы, но с осторожностью».

Это был мир, сотканный из тумана, воды и вековой, нерастраченной злобы.

Весна сюда приходила не солнечными днями и звоном капли, а медленным, болезненным пробуждением: гнилые снега сползали в чёрную воду, обнажая прошлогоднюю осоку, мёртвую и ломкую, словно кости. Земля здесь никогда не была твёрдой — она чавкала под ногами, дышала ядовитыми испарениями и рождала лишь кривые, чахлые берёзы, облепленные мхом-бородачом. Воздух, густой и сладковатый от гнили, даже в мороз был пропитан сыростью, от которой у чужаков начинался кашель, переходящий в горячку. А главными хозяевами этого места, истинными владыками, перед которыми трепетало всё живое, были комары. Весной и летом они вставали с болот такой плотной, звенящей тучей, что солнце меркло. Зимой же их сменял холод — не тот бодрящий, сухой мороз Тобольска, а пронизывающая до костей ледяная мгла, что ползла от самой воды и забиралась под любую шкуру.

Здесь, на островках относительно твёрдой земли, среди бескрайних трясин, и жило Племя. Они называли себя просто — Сыбыры. Никто из них не ведал и не хотел ведать, что где-то есть Великая Тартария с могучими Септимами. Для них существовал только их остров, их род и их идолы. Сходство со строителями Тобольска было лишь в нескольких словах, что звучали отдалённо похоже, да в раскосом разрезе тёмных, как болотная вода, глаз. Но тартарский язык они понимали с трудом, коверкая его так, что сборщики дани плевались. Да и сами тартары, случись им увидеть этих своих дальних родственников, в ужасе бы открестились: уж слишком дик был их облик, слишком грубы лица, слишком страшен быт.

Поселение, или, как они сами его называли, Корт, представляло собой десятка три приземистых землянок, врытых в склон холма. Крышами им служили пласты дёрна и камыша, отчего издали жилища походили на могильные курганы. Дым от очагов не поднимался к небу, а стелился по земле, смешиваясь с туманом, пропитывая всё вокруг едким запахом горящего торфа и сырых шкур.

В центре Корта, на утоптанной площадке, высился грубо вытесанный из цельного дуба идол. Он изображал трёхликое существо с пустыми глазницами и оскаленной пастью, из которой торчали настоящие волчьи клыки. Ему поклонялись, у него просили удачи в охоте и защиты от злых духов, которых здесь было — что комарья. Имя ему было Урман-Ата — Отец Леса и Болота. Подножие идола было бурым от запёкшейся крови: охотники, возвращаясь с добычей, всегда мазали деревянные губы кровью первого убитого зверя, чтобы Урман-Ата не гневался.

Утро в Корте начиналось не с пения петухов — кур здесь не держали, слишком много лисиц и хорьков. Оно начиналось с ругани.

— Ты, сучье вымя, опять мои силки трогал?! — хриплый женский вопль разорвал тишину, вспугнув вороньё с голых ветвей.

Из одной землянки, кутаясь в драный заячий тулуп, выскочила грузная женщина с красным от гнева лицом по имени Ульпа. В руке она сжимала моток гнилой бечеvy. Она неслась к соседней землянке, откуда уже вылезал её заспанный сосед — щуплый, но жилистый мужичонка по кличке Кирша-Косой.

— Да подавись ты своими силками! — огрызнулся он, почёсывая всклокоченную бороду. — Там всё равно петли гнилые. Мой малец в них только ногу запутал, а не зайца.

— Твой малец — безмозглый выродок, весь в тебя! — не унималась Ульпа. — Ты мне за нитки заплати! Давай шкуру беличью, что вчера добыл.

— Вот тебе шкура! — Кирша скрутил кукиш и плюнул под ноги бабе. — Я её Урман-Ате пожертвовал. Может, он тебе ума пошлёт, карга старая.

Ульпа взвыла так, что зазвенело в ушах, и запустила в соседа мотком. Тот увернулся с ловкостью куницы, и бечева шлёпнулась в лужу. На шум из других землянок начали высываться заспанные, угрюмые лица. Кто-то ржал, кто-то вяло поддерживал одну из сторон. Никто и не думал разнимать — такая перепалка была здесь вместо утренней молитвы.

Взрослые мужчины, впрочем, не обращали на бабью ругань внимания. Они собирались у дальней землянки, что побольше и покрепче. Там жил Угрюм — старейшина, самый старый и, как считалось, самый мудрый, потому что дожил до седых волос и ещё мог натянуть лук. Угрюм сидел на корточках у входа, обстругивая ножом древко стрелы. Лицо его, изрезанное морщинами, было похоже на кору болотной сосны. Одет он был в вывернутую мехом внутрь волчью шкуру. Волчья пасть, нахлобученная на голову вместо капюшона, скалилась пустыми глазницами.

— Чего галдите, как бабы на сносях? — проворчал он, не поднимая глаз, когда к нему подошли охотники. — Зверьё распугаете.

— Да там Ульпа опять с Косым... — начал было молодой парень.

— Плевать, — оборвал Угрюм. — Дело есть. Вчера Бирюк на дальних топях лося видел. След свежий.

При имени Бирюка охотники оживились. Бирюк был лучшим следопытом в Корте. Угрюмый, вечно молчаливый здоровяк с выбитым в юности передним зубом, отчего его речь превратилась в зловещий присвист, он редко говорил, но если говорил — то по делу.

— Лось — это мясо, — произнёс Угрюм, строго оглядев мужчин. — Мясо — это жизнь. Снег сошёл, комары ещё не встали. Сейчас идти надо. Завтра уже кровососы такое устроят — носа не высунешь.

— А дань? — вдруг спросил кто-то из задних рядов. Голос был неуверенный, почти испуганный.

Все замолчали. Угрюм медленно поднял глаза, и взгляд его стал тяжёлым, как свинец.

— Дань... — протянул он, сплюнув на землю. — Как снег совсем сойдёт, так опять придут. Тартарские выродки. Ца-арские. — Последнее слово он выговорил с особым отвращением, как ругательство.

— Может, не придут в этот раз? — с надеждой спросил тот же голос. — Дороги-то развезло. Мостки, поди, все сгнили.

— Они везде пролезут, — зло бросил Угрюм. — Как глисты. Помните прошлый раз? Пришли втроём. Мы их чуть в болоте не утопили.

По толпе прошёл одобрителный гул. Прошлая осень была для племени предметом особой гордости. Трое сборщиков дани, вооружённые саблями, но измученные долгой дорогой, едва унесли ноги. В них летели камни из пращей, комья грязи, а вдогонку неслись проклятия и вой шамана. Они ушли без единой шкурки, и целых три месяца после этого сыбыры чувствовали себя хозяевами. Но потом, по первому снегу, явился отряд. Не трое. Два десятка всадни-

ков в полном вооружении, с огненными палками, что изрыгали гром и убивали на расстоянии. И тогда Корт заплатил. Заплатил вдвойне — за себя и за ту дерзость. Отдали лучшие меха, сушёное мясо, даже несколько медных котлов. В тот день Бирюк ушёл в лес и выл как волк от бессилия.

— Они сильнее, — глухо произнёс Бирюк. Редкий случай, когда он заговорил. Все обернулись к нему. Он стоял, привалившись к дереву, и смотрел в землю. — У них железо. У них кони. У них этот... порох. А у нас — гнилые стрелы и злоба. С голыми руками на саблю не попрёшь.

— Мы — Сыбыры! — ударил себя в грудь Угрюм, и в глазах его вспыхнул фанатичный огонь. — Мы здесь были всегда! Ещё до того, как ихний Тобольск построили! Мы — дети Урман-Аты! А они — пришельцы.

— Пришельцы, которые могут нас перебить за один день, — тихо, но твёрдо сказал Бирюк. — Я не хочу умирать, Угрюм. И ты не хочешь. Поэтому, когда они придут снова... мы заплатим.

Повисла тягостная, звенящая тишина. Даже птицы, казалось, замолкли. Угрюм смотрел на Бирюка с ненавистью, но не мог найти слов, чтобы возразить. Потому что тот был прав.

Где-то за спинами охотников снова заверещала Ульпа, переключившаяся с Кирши на свою невестку, которая якобы недосолила юшку. Жизнь в Кorte шла своим чередом: грязная, голодная, полная страха и взаимной неприязни. Они жили как дикари, потому что мир не оставил им другого выбора. Великая Тартария с её праздниками, победами и молодым царем Уриэлем была для них не родиной, а проклятием. Далекой, неведомой силой, которая лишь забирала последнее.

Угрюм махнул рукой и поднялся.

— Собирайтесь, — буркнул он. — Идём за лосем. А о тартарах пока не думайте. Успеем ещё наглотаться ими. Вся жизнь впереди.

И мужчины, угрюмые и злые, разошлись по землянкам готовить жалкое оружие. Никто из них не знал, что далеко на юге, в горячих песках, судьба уже готовила им новое испытание. Что скоро в их глухие болота придут не за данью. А за душами.

Но пока над топиями висел туман, и старый Урман-Ата равнодушно взирал пустыми глазами на своих детей, обречённых на дикость и вымирание.

Глава 3. Железный кулак

Весна в том году окончательно сломала хребет зиме. Снег сошёл даже в самых глухих оврагах, обнажив прошлогоднюю гниль, а небо над Гнилыми Топями затянуло ровной серой пеленой, из которой моросил мелкий, противный дождь. Дороги, и без того едва проходимые, превратились в месиво из грязи и болотной жижи. В такое время даже самый отчаянный купец не сунулся бы в эти края.

Но сборщики дани — не купцы. Они — государевы люди.

Сыбыры в Кorte почуяли их приближение задолго до того, как увидели. Собаки, тощие и вечно голодные, вдруг зашлись лаем, но как-то не по-обычному — не с азартом, а с подвыванием, словно чуя хищника. Птицы смолкли. Даже вездесущие комары, только-только начавшие просыпаться после зимы, будто попрытались.

Старый Угрюм, сидевший у порога своей землянки и чинивший сеть, замер. Его узловатые пальцы, скрюченные годами, сжали верёвку так, что костяшки побелели. Он поднял голову и втянул ноздрями сырой воздух, словно старый волк, чующий дым лесного пожара.

— Идут, — сказал он глухо, ни к кому не обращаясь.

Бирюк, сидевший рядом на корточках и точивший свой жалкий охотничий нож — даже не из железа, а из кости с вставленным вдоль лезвия куском кремня — медленно поднял голову. Его глаза, всегда пустые и безразличные, на мгновение полыхнули страхом. Страхом, смешанным с ненавистью.

— Много? — спросил он.

Угрюм не ответил. Он уже поднимался на ноги, и лицо его становилось твёрдым, как та самая болотная сосна, из которой был вырезан Урман-Ата.

— Палки! — рявкнул он на весь Корт. — Камни! Баб и детей — в землянки!

Поселение мгновенно ожило, но не радостной суетой, а той злой, лихорадочной спешкой, какая бывает в муравейнике, в который ткнули палкой. Мужчины хватались за что попало: суковатые дубины, камни, сложенные у входа в частокол, ржавые, ещё дедовские копья с каменными наконечниками. Женщины с визгом загоняли детей в землянки, прикрывая входы плетёными щитами. Ульпа, та самая крикливая баба, уже тащила откуда-то мешок с речной галькой — для пращей. Лицо её было перекошено злобой.

— Не дадим! — визжала она. — Хватит! В прошлый раз ушли без мехов, и сейчас уйдут!

Кое-кто из молодых парней, ещё помнивших прошлогодний «подвиг», одобрительно загалдел. Им казалось, что всё повторится: придут несколько измученных дорогой сборщиков, увидят ошетилившийся Корт и отступят. Глупые, они ещё не видели того, что увидел Угрюм.

А Угрюм уже видел. И от этого зрелища его старое сердце, бившееся в груди ровно и гулко уже семь десятков зим, пропустило удар.

Из тумана, стелившегося над болотом, выехал первый всадник. За ним — второй. Третий. Десятый. Двадцатый.

Это был не жалкий отряд из трёх усталых сборщиков на тощих клячах. Это был военный разъезд. Всадники в добротных кожаных доспехах с нашитыми стальными пластинами, в остроконечных тартарских шлемах, восседали на рослых, сытых конях. Кони фыркали, били копытами в грязь, и от их силы и мощи веяло чем-то нездешним, пугающим. Но самое страшное было не в конях и не в доспехах.

Самое страшное висело у каждого всадника на боку или было перекинуто через седло. Длинные, тускло блестящие сталью мечи. Сабли, каких сыбыры никогда не видели — изогнутые, хищные, способные перерубить человека надвое. А у троих, ехавших впереди, были ещё и ружья — те самые «огненные палки», о которых в Кorte рассказывали шёпотом и только по ночам. Короткие стволы смотрели в небо, но даже в этом было обещание смерти. Смерти на расстоянии. Смерти, против которой бессильны и дубина, и камень, и злоба.

Сыбыры, ещё минуту назад готовые драться, замерли. Кто-то выронил дубину, и она глухо шлёпнулась в грязь. Кто-то попятился, споткнулся и упал. Даже Ульпа замолчала, разинув рот. Мешок с галькой выпал из её ослабевших пальцев.

Всадники остановились у входа в Корт, прямо перед идолом Урман-Аты. Кони, почуяв запах крови у подножия истукана, нервно захрапели. Вперёд выехал главный. Он был не в доспехах, а в добротном кафтане из синего сукна, расшитом серебряным позументом. На поясе висела сабля в ножнах, украшенных самоцветами. На пальце — перстень с печатью. Лицо у него было сытое, гладкое, с аккуратно подстриженной рыжевато-бородой и холодными серыми глазами, в которых читалось не презрение даже, а скука. Человек, привыкший к тому, что перед ним трепещут.

Это был Алхаз, старший сборщик дани Тобольского наместничества.

Он смотрел на сыбырр сверху вниз, как смотрят на блохастых собак, забежавших в чистую горницу. Его взгляд скользнул по жалким дубинам, по камням, по дрожащему от страха и гнева Угрюму, и на тонких губах Алхаза заиграла усмешка.

— Ну-ну, — протянул он, и голос его был как масло: скользкий, обволакивающий, но почему-то вызывающий дрожь. — Значит, опять драться? Вас жизнь ничему не учит, дикари.

Никто из сыбыр не ответил. Угрюм стоял, вцепившись в свою дубину так, что ногти впились в дерево. Бирюк, притаившийся за его спиной, глухо зарычал — тихо, по-звериному.

Алхаз вздохнул, словно усталый учитель, вынужденный в сотый раз объяснять прописную истину. Он обернулся к одному из всадников с ружьём и небрежно кивнул.

Всадник спокойно, даже лениво поднял ружьё, прицелился куда-то поверх голов толпы и спустил курок.

Грохот ударил по ушам, как гром среди ясного неба. Огненная вспышка, облачко вонючего дыма — и ветка старой берёзы, что росла на краю Корта, разлетелась в щепки. Птицы, до того прятавшиеся, с диким криком взмыли в небо. Несколько сыбыр упали на колени, закрывая головы руками. Кто-то из женщин в землянке истошно закричал.

Алхаз поморщился, словно от слишком громкого звука, и помахал рукой перед лицом, разгоняя дым.

— Вот видите, — сказал он тем же скучающим тоном. — Это было предупреждение. Следующий заряд полетит в кого-нибудь из вас. Мне всё равно в кого. Вы тут все на одно лицо.

Он спешился, аккуратно, чтобы не запачкать сапоги в грязи, перешагнул через лужу и подошёл ближе. Сыбыры расступились перед ним, как болотная жижа расступается перед брошенным камнем.

— Значит так, — Алхаз оглядел собравшихся, и усмешка снова тронула его губы. — Дань. Меха́ми, мясом, шкурами. Всё как обычно. Но сегодня вы заплатите вдвойне.

— За что? — вырвалось у Угрюма. Голос его дрожал, но он стоял прямо, глядя сборщику в глаза.

— За дерзость, — отрезал Алхаз. — За прошлый раз. За то, что моих людей грязью забросали. Думали, мы не вернёмся? Думали, Великая Тартария забудет ваше крысиное гнездо? Нет. Мы помним всё. Мы считаем каждую шкурку и каждое оскорбление. А вы сейчас в долгу.

Он сделал паузу, наслаждаясь их унижением. А затем, словно что-то вспомнив, хлопнул себя по лбу и рассмеялся — негромко, но очень обидно.

— Ах да! — он театрально развёл руками. — Вы же тут сидите в своём болоте и ничего не знаете! Эх, сыбыры, сыбыры... Мы тут Монголию завоевали! Каракорум восстанавливаем! Тот самый Каракорум, великую столицу, откуда когда-то ваши далёкие предки, может, и вышли. Наш царь, Великий Уриэль Септим, торгует с Китаем! С Московией! С Османской империей! Корабли по Иртышу ходят, караваны в Бухару идут! В Тобольске — храмы каменные, базары, каких вы и во сне не видели. А вы... — он обвёл рукой их жалкие землянки, покосившийся частокол, идола с кровавыми губами, и лицо его исказила гримаса брезгливости. — А вы живёте как дикари. Как звери в норах.

Сыбыры слушали его, и внутри у них что-то переворачивалось. Не только страх. Зависть. Жгучая, чёрная, как болотная вода, зависть. Они смотрели на его чистый кафтан, на блестящую саблю, на сытых коней, и представляли тот неведомый, сказочный мир, о котором он говорил. Мир, где есть каменные дома, где не надо дрожать от холода в землянке, где еда не достаётся ценой жизни. Мир, от которого они были отрезаны навсегда.

Угрюм, стоявший ближе всех, стиснул зубы так, что они скрипнули. Его глаза, устремлённые на Алхаза, горели ненавистью. Но он молчал. А что он мог сказать?

Алхаз заметил этот взгляд и, казалось, развеселился ещё больше. Он подошёл почти вплотную к идолу Урман-Аты, с любопытством оглядел его, ткнул носком сапога в череп какого-то мелкого зверька, лежавший у подножия.

— А это что за уродец? — поинтересовался он небрежно. — Ваш бог?

— Урман-Ата, — глухо ответил Угрюм. — Отец Леса. Не тронь. Не твоего ума дело.

— Не моего ума? — переспросил Алхаз, и в его голосе зазвенела сталь. — Ах ты, старая плесень... Ты хоть понимаешь, с кем разговариваешь? У нас в Тартарии, — он повысил голос, чтобы слышали все, — живут и христиане, и мусульмане. У нас есть храмы и мечети. У нас есть священники и муллы, которые несут людям истинную веру. А вы тут поклоняетесь деревяшке с волчьими зубами! Почему вы не принимаете нормальную веру? Почему живёте как скоты?

Угрюм выпрямился во весь рост. Он был ниже Алхаза на голову, его одежда была грязна и драна, его дубина была смешна по сравнению с саблей. Но в этот момент он был страшен. Его голос, сорвавшийся на крик, прокатился над Коротом, как раскат грома:

— Не надо нам чужого! Мы своим предкам молимся! Тысячи зим наши отцы молились Урман-Ате, и мы будем! Не тебе, пришельцу, учить нас вере! Ты за данью пришёл — бери и убирайся!

На мгновение повисла тишина. Даже Алхаз, казалось, опешил от этой вспышки. Но лишь на мгновение.

Он запрокинул голову и расхохотался. Смех его был громким, искренним, и от этого ещё более унижительным. Его люди тоже заухмылялись, переглядываясь. Один из них, самый молодой, громко фыркнул.

— Своим предкам! — сквозь смех выдавил Алхаз. — Да ваши предки, если бы увидели вас сейчас, они бы от стыда удавились! Они хоть сабли в руках держали и города брали, а вы... вы только и можете, что камнями кидаться да в грязи копаться.

Он отсмеялся, вытер выступившую слезу и махнул рукой.

— Ладно. Хватит болтовни. Несите дань.

И сыбыры понесли. Понутив головы, пряча глаза, они тащили из землянок связки беличьих и лисьих шкур, вяленое мясо, бочонки с мёдом диких пчёл — всё, что у них было ценного. Алхаз стоял, скрестив руки на груди, и следил за процессом. Иногда он брал какую-нибудь шкурку, вертел в руках, брезгливо морщился и бросал обратно: «Дырявая. Другую давай». И сыбыры покорно шли и несли другую.

Когда сани, запряжённые парой лошадей, были доверху загружены данью, Алхаз легко запрыгнул в седло. Он последний раз оглядел Корт, задержал взгляд на каменных лицах сыбыр, на их сжатых кулаках и полных ненависти глазах.

— Живите пока, — бросил он на прощание, словно швырнул кость собакам. — Но помните: Великая Тартария не забывает. Будете бузить — в следующий раз мы не дань собирать приедем. А выжигать это ваше змеиное гнездо. Всё поняли?

Ответом ему было молчание. Тяжёлое, вязкое, как сама трясина, молчание, в котором было больше обещания, чем в любых словах.

Алхаз усмехнулся, развернул коня и, не оглядываясь, поехал прочь. Его отряд двинулся за ним. Вскоре они скрылись в тумане, и лишь удаляющийся стук копыт ещё долго стоял в ушах у жителей Корта.

Сыбыры стояли и смотрели вслед. Дождь усилился, но никто не уходил.

Угрюм подошёл к идолу Урман-Аты, упал на колени прямо в грязь и прижался лбом к деревянному подножию. Плечи его вздрагивали. То ли от плача, то ли от бессильной злобы.

— Ничего, — прошептал Бирюк, стоя за его спиной. Голос его был тих и страшен. — Ничего. Когда-нибудь... кто-нибудь... придёт и сломает их. И мы ему поможем. Мы будем драться. Мы будем грызть. Мы ещё вспомним этот день.

Никто из них не знал, что слова эти окажутся пророческими. Что человек, который сломает Великую Тартарию, уже собирает войска на юге. Что имя ему — Кучум. И что скоро он поступится и в их забытый богами Корт.

Но до этого было ещё далеко. А пока над Гнилыми Топями висела тишина, пахло порохом и унижением, и старый деревянный бог равнодушно смотрел на своих голодных детей.

Глава 4. Гости с юга

Лето в Тобольске было в самом разгаре. Город, умытый короткими ночными дождями, сиял под солнечными лучами, как отполированный самоцвет в короне Великой Тартарии. Над Иртышом стояло марево, и река катила свои воды лениво, величаво, словно сама была уверена в собственном могуществе. Белые стены Кремля отражали свет так ярко, что смотреть на них

было больно, а золотые купола православных храмов и серебряные полумесяцы мечетей, вознёсшиеся к небу, казались кораблями, плывущими в бездонной синеве.

Улицы столицы бурлили жизнью — той самой, о которой Алхаз с таким презрением рассказывал дикарям на болотах, и которая теперь, после его возвращения, казалась ему особенно сладкой. По мощёным мостовым грохотали телеги, гружённые товарами из Московии, Китая и далёкой Персии. Купцы в расшитых халатах и собольих шапках, несмотря на жару, громко спорили о ценах на шёлк и пряности. Где-то в кузнечном ряду мерно ухали молоты, выковывая те самые сабли, что внушали ужас диким племенам. Пахло свежим хлебом из пекарен, жареным мясом с торговых рядов и тонким ароматом восточных благовоний, что курились у входа в лавку бухарского торговца.

Здесь, в сердце Тартарии, смешалось всё: языки, народы, веры. По улице мог пройти православный священник в чёрной рясе, степенно беседуя с муллой в белой чалме. Рядом монгольский нойон в меховой шапке, пленённый в недавней войне, но уже обласканный царём и принятый на службу, обсуждал с русским боярином породу лошадей. У фонтана на главной площади девушки в ярких сарафанах смеялись, слушая заезжего скомороха с гуслиями. И надо всем этим — над куполами, над базаром, над рекой — реял огромный стяг с серебряным драконом дома Септимов. Символ силы. Символ порядка. Символ величия.

Вот в этот мир, полный солнца и жизни, и вернулся Алхаз со своим отрядом.

Они въехали в город через Южные ворота, где их сразу же встретил Главный казначей — Селим-бей, мужчина лет пятидесяти, с лицом, напоминавшим старую карту: каждая морщина на нём была проложена многолетним опытом интриг и торгов. Одет он был в строгий кафтан тёмно-зелёного сукна, без лишних украшений, но ткань его стоила целое состояние. На поясе висела не сабля, а связка ключей и счёты в кожаном футляре — его оружие было иным. Глаза у Селим-бея были маленькие, цепкие, как у хорька, и ничего не упускали.

Увидев Алхаза, он чуть приподнял бровь — единственное, что выдавало его любопытство.

— А, Алхаз, — произнёс он вместо приветствия, окидывая взглядом загруженные под завязку сани. — Вернулся, значит. Живой. И товар, я вижу, при тебе. Уже неплохо.

Алхаз спешился, довольно хлопнул ладонью по груди мехов и усмехнулся во весь рот. Он чувствовал себя победителем. Грязь Гнилых Топей осталась позади, а впереди была баня, хороший ужин и, возможно, похвала от начальства.

— И тебе доброго дня, Селим-бей, — отозвался он, чуть склонив голову. — Разумеется, при мне. Не впервой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.